

Благодатная ткань

Дневник паломника

Валентин КУРБАТОВ

И не «сны» это, уцелевшие в обрывках, а сама духовная, благодатная ткань православной Руси. Это — дух нашего народа. Это — мы сами. Это древнее, отстойное и мудрое вино нашей русскости.

И. А. Ильин

Монастырь все еще остается в нашей литературе гостем не частым (или она там не часто гостит?). Художественная-то литература благодарнее. Там промерцает, как дорогой оклад в скатных жемчугах при теплом мрени свечей, Печорская обитель в зуровской «Отчине», воскреснет в обманчивой устойчивости быт заволжских скитов у Мельникова, опит чудом мирной красоты и живого лада киевское старчество у Лескова, забьется уличной, сотрясающей покой обители тревогой монашеский мир у Достоевского... А вот обыденного, несюжетного быта неутояюще мало. И ловишь, ловишь мимолетные главы о Соловках и Валааме у Максимова и Пришвина, ждешь не дождешься, когда доедет до Юрьева монастыря П. Якушкин или когда В. Розанов найдет время зайти в Троице-Сергиеву Лавру. Больше других повезло Оптиной пустыни. И. К. Леонтьев, и К. Зедергольм, и более всех С. Нилус

замечательно рассказали о жизни обители «на берегу Божьей реки».

А сегодня, сегодня-то что это за мир, что за мысль живет в этих стенах, что за люди? Острое чувство инакости (не зря они — иноки, от этого самого слова «иной») неизбежно ведет к желанию в меру разума записать понятие при явственном знании, что это именно только малая часть уже позабытого нашей обмелевшей душой целого.

О Печорском монастыре бережно и подробно написал недавно в книге «Сердце милующее» Борис Дедюхин. Он и братию представил, и быт, и те истории, которые поведал у монастырских насельников, и даже обобщения сделал. Светскому человеку, наверно, это легче. Обычному же мирянину, каким я вошел, вернее иногда вхожу в обитель, труднее. Когда приходишь для молитвы, уже не умеешь отстраниться до регистрирующего наблюдения.



За трапезой
During a meal

Фотографии
из личного
архива автора

Photos from
the author's
private archives

И уж тем более не решишься приступить к инокам с расспросами об оставленной жизни. Если же все-таки пишешь, то потому, что профессию в себе не умеешь изжить, и потому, что в тяжкий час обступающей общественной тьмы или домашней безладности так бывает утешно и целительно вернуться в монастырскую ограду через бедную дверь этих простых записей.

Не знаю, надо ли говорить о «специальности» поминаемых мною монахов (она в записи часто не видна, да и всякая специальность тут вторая после молитвы), но для удобства понимания характеров скажу, что архимандрит Зинон (когда я пишу «батюшка», то это все тот же отец Зинон) — иконописец, игумен Таврион (в пору, когда эти заметки писались) — библиотекарь, а послушники и живущий при монастыре народ названы просто по именам. Фамилии или внемонашеские их занятия тут не важны.

Простите, святые отцы, если что понял не так, или сказал невпопад, и благословите.

6 мая. С утра прохладно, но прислонись к деревянной стене кельи и уже чувствуешь, что она потеплела от поднявшегося солнца. Заря алеет сильно, и чуть глухо, сипловато, как наш плачущий по убиенному Грозным игумену Корнилию надтреснутый колокол, но без тревоги. Зяблики поют, скворцы. Черемуха облаком встает в овраге сквозь набирающие силу клены. Бабушки уже сходятся к Успенскому собору, зябло и мелко крестятся — и скорее в тепло. Еще особенно тихо, и очень слышны шаги, покашливания, словно двор собирает звуки.

Ударяют к литургии, и кажется, вишня в саду именно от звона медленно роняет цвет. Галки было взнимаются, но потом садятся и спокойно слушают радостный трезвон. У нас уже умолкли и уже отец Иоанн возглашает: «Благословенно Царство!», а за оградой у Сорока Мучеников еще звонят — весело, переливчато, по-народному, как частушки отрывают. Часы у них отстали или хотят порадоваться своему звону без помехи монастырского.

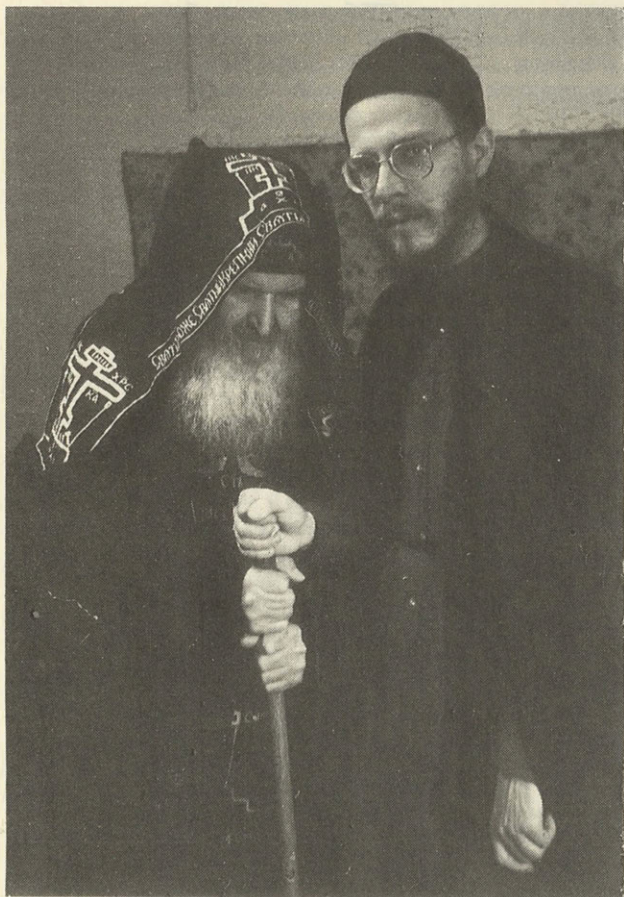
Отец Иоанн служит высоко и отчетливо, с какой-то любовной каллиграфией. Недавний послушник отца Зинова Алеша, теперь уже дьякон отец Амвросий, на «Верую» и «Отче наш» еще не смеет поднять глаз и дирижирует неуверенно, сбивая общее пение. Выходит иеродьякон Стефан, твердо подправляет, и храм разом собирается. И как хорошо уже перед крестом весь собор запел «Воскресения день, просветимся торжеством!». Какие молодые чистые голоса, а ведь больше старухи поют, и невозможной любовью мгновенно вспыхивает сердце, когда слы-

шишь: «...и друг друга обьемем, рцем, братие, и ненавидящим нас простим вся Воскресением...» Так чудесно легко на душе, как давно не было! Всего миг, но как ясно слышна в этот миг вечность радости, догадка, что, может быть, там, если душа светла, — всегда так.

Днем уж как-то и не по-весеннему тепло. Весело посвистывает самовар на солнышке. Батюшка разливает чай. Отец Иона пришел, Александр, Владимир, Иван из близких и первых помощников. Сверстники, они привычно посмеиваются над весело и неутомимо разговорчивым Александром, а он умно и счастливо подыгрывает всем, пугая, что вот затеет свой скит, уйдет в затвор, замолчит и они еще настоятся на коленях: «Скажи хоть словечко, а я ни гугу». Отец Зинон только качает головой и улыбается и тоже радуется дню: «Отца Серафима вывозил вчера, по солнышку поездили, а то у него уже и коляска заржавела. Колокола послушал, поплакал. Я ему пластинки новые со службой принес. Послушал — нет, говорит, это уж очень, мне бы попроще, наше бы, братское...»

Батюшка задумывается, и его «ушедшее» лицо делается таинственно отдельно, будто душа его смотрит во что-то неведомо значительное и проговаривается о глубинах, которые не даются слову. Он отдыхает до вечерней службы и, наверно, и мыслей-то особенных нет, но именно оставленное без определенной заботы лицо и говорит свое главное содержание. Мы-то без присмотра себя оставим, так там такое начертится, что и в зеркале себя не узнаешь — пустыня.

21 мая. Две недели прошло, а уж сад набрал силы и только шестисотлетний дуб не торопится с полной листвой. На всенощной я был внезапно потрясен, когда отец Иоанн Крестьянкин так зримо вывел вдруг на литии строй русских молитвенников «...всея России чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, преподобных и богоносных отец наших Сергия и Никона, игуменов Радонежских, святых благоверных князей Александра Невского, Дмитрия Донского; Серафима Саровского, Нила Сорского, Никандра Псковского...» Сколько раз слышал этот великий Синодик, но словно слух был затворен, а тут с каждым новым именем они незримо и явственно вставали вокруг, и я вдруг почувствовал близкие слезы, но обрадовался им до того, как они пролились. Это краткое восстание российских святых раздвигало храм до пределов России, и опять можно было забыть значение слов «одиночество» и «сиротство». Опять это было из тех дорогих крох, которые, слава Богу, собираются понемногу в моем духовном опыте..



Игумен Иона
со схимником
Abbot Jonas
with a
schemamonk

22 мая. Раннюю служили в Никольском храме. Храм тесный, и уже на паперти не протолкнуться — ведь сегодня Никола! Чуть дотянулся до порога. Батюшка служит с удивительной строгой полнотой, и иногда я остро чувствую, что мы стоим в разных храмах и мне в него хода пока нет, а он мой разрушил за пустотой и слабостью и позабыл дорогу в это убогое место и, может быть, не видит меня здесь. Но он-то открыт, его-то храм сияет, и мне путь ясен. Самому надо выбирать — идти или не идти. На таких порогах уже не спускаются, чтобы вести за руку — тут час последний свободы выбора.

В Никольском начинается акафист святителю Николаю, а в соседнем Корнилевском (дверь меж ними открыта и в промежутке толпится народ) — панихида, и «Радуйся, красото...» мешается в хорах с «Со святыми упокой...». Можно было бы сказать «как в жизни», но вчера я прочел у японцев: «Стократ благородней тот, кто при вспышке молнии не скажет: «Вот наша жизнь» — и я не скажу, а только, устыдясь ординарности мысли, все-таки подумаю.

После обеда пришел в сад отец Таврион и, как часто бывает в монастырских беседах, которые обычно странно похожи на

неизданные главы «Добролюбия» (всегда это поучительный замкнутый сюжет с реальным героем), стал припоминать разные житейские случаи. Один показался мне особенно хорош. Речь шла о художнике, который постепенно взшел в понимании красоты от портрета к иконе и чем долее глядел в лик Христа, тем отчетливее видел, что тут тайна, что он только у порога, что светит что-то в глубине, а что — не увидишь, будто старые картинки под папиросной бумагой и бумаги этой поднять нельзя. Ну тогда ему священник в деревне, куда они заехали со своим московским товарищем, и говорит, что дальше-то можно увидеть только после исповеди и причастия. И точно: потом живописец этот, сияя, все благодарил священника и возбужденно говорил, что да — увидел. «Что уж он там увидел, — улыбается отец Таврион, — не знаю, но видно было, что действительно — увидел». Но суть-то не в нем, а в его товарище, который тогда же пожаловался священнику, что скучно и однообразно жить, что уже перепробовал и йогу, и буддизм, и экстрасенсов, и в православной церкви настоялся, а — нет. Ну и ему — был тот же совет — исповедаться и причаститься. Они вместе с художником и стояли. И наутро прозревший-то художник счастливо спрашивает: «Хорошо тебе?» И друг отвечает: «Хорошо», а сам, как потом вспоминал — не знаю, говорит, куда глаза девать, потому что нехорошо мне. И стена как стояла, так и стоит. И главное, я, говорит, будто чувствую, что и с той стороны кто-то идет ко мне, а алтарная стена — всё стена, и такая тоска... Вернулись в Москву, иду, говорит этот товарищ художника, по Калининскому проспекту, по этим разверстым скрижалям беззакония, а небо синее, дымкой молочной взявшееся, и как-то прозрачно, редко, и вдруг само собой сказало: «Отче наш...» И я, говорит, даже остановился от слез. Вдруг понял — слышит, почувствовал как-то. И не мой, а именно наш — всех этих людей, которые в машинах и без машин несутся куда-то сломя голову взад и вперед. Сказал и вторую строку: «Да святится имя Твое», — и еще сильнее заплакал. Стыдно, пришлось в подземный переход сойти, чтобы люди не видели. Так до конца и дочитал — сам по ступенькам вниз, а душа выше и выше через все семь небес. Скажи кому на Калининском проспекте...

Уже к закату заглянул разговорчивый Александр — незнаваемый тихий. Оказывался, батюшка наложил епитимью — отлучил от общения на год «до укреления ума», и Александр маячит в отведенной ему границе — на сто метров не приближаясь к келье и ждет, когда батюшка пройдет, чтобы «нечаянно» попасться ему

на глаза и поговорить. А батюшка все мимо него и все бегом — будто не видит. Наконец, Саша (чаще его именно Сашей и зовут) не выдерживает и, зная, что батюшка в келье один, вприпрыжку несется через «запретную зону» и исчезает за дверью. Возвращается минут через пятнадцать повеселевший — епитимья ограничивается Пятидесятницей, ну а раз сегодня Преполование, то остается 25 дней — терпеть можно. Пострадал за язык: «Тайну выдал врагам по беспечности характера», — смеется Саша.

21 июня. От вокзала к монастырю — путь не близкий, но в теплое утро ноги сами несут мимо автобуса. И пока шел — все туман, туман, парная мгла. Лазаревская церковь, где надеялся найти батюшку, закрыта. Пошел в Успенскую. Братия служит молебен Корнилию, потом поет «Царице моя Преблагая» у главного монастырского образа «Успения» и идет прикладываться — по двое разом с двух сторон: три поклона иконе, ступень к ней, касание губ, поклон образу, поклон братии, поклон друг другу — и к раке Корнилия, уступая новой паре: три поклона, ступень, касание... Потом за бабушками поднимаюсь к образу и тотчас вспоминаю, что, кажется, в 1903 году здесь к нему прикладывался последний царь, и короткий укол этого общего поцелуя или невнятного не успевшее определиться, как запотевшее от дыхания облачко на стекле иконы, переживание ускользает, не закрепившись. И образ, и рака тонко пахнут кипарисом, какой-то розовой чистотой — не благоухание, а как будто только след его.

У звонницы издали улыбается веселый прощенный Саша: «Еще и до Троицы простил...»

21 июля. Приехал к обеду. Встретил живущий тут второе лето московский мальчишка Витька. Я пошел обустроить жилище в Благовещенской башне. Скоро и Витька прилетел звать пить чай.

Сад стоит в лесу подпорок — каждая ветвь обременена каким-то уж просто пугающим урожаем. Цветы буйствуют так, что на них тревожно глядеть — как-то это все вперевор.

В начале восьмого становимся на вечерню. Часовня в саду тесна всем, и даже от трех свечей душновато. Я уже за долгие годы в церкви только-только сумел понять, что служба — это не полуневольная дань Богу, чтобы потом поскорее вернуться к своим делам, а именно главное дело и есть, именно единственно полное человеческое дело на земле, и стою без усталости, и радуюсь слитности, и не могу насмотреться на отца Зинова в коротенькой мантии поверх серой рабочей рясы. Солнце мешается со свечами, и в этом двоя-

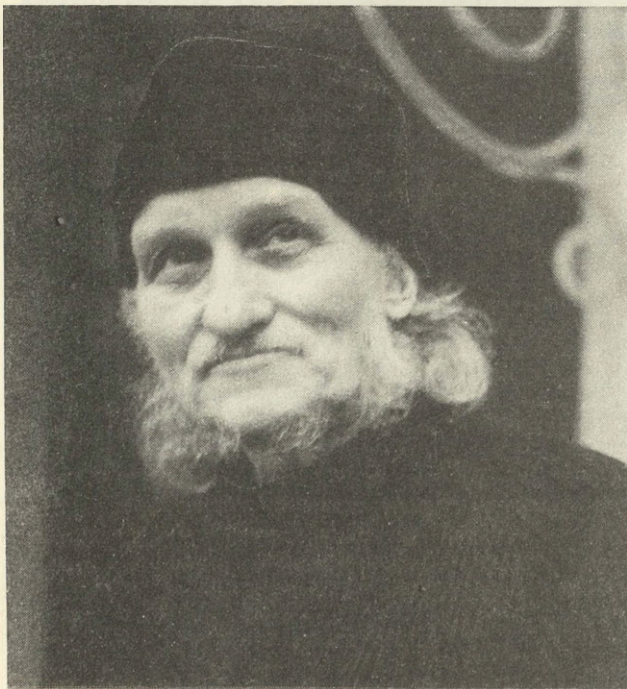
щемся свете он как-то особенно светло и легко чист, хочется сказать, бесплотен. Вон Иван рядом стоит — литой, спело сбитый, шея колонной из воротника под черную крутую скобку волос — чистый Кирибеевич. Владимир, несмотря на подрысник, насквозь москвич — очки, умная естественность и даже тут чуть ироническая свобода; отец Иона строг, прям, подчеркнуто серьезен — есть в этой опрятной ответственности что-то сродное молодым земским учителям минувшего века. А батюшка давно где-то та-а-ам, чего словом не обозначишь, и там у него светло и небо. В природе этих состояний нет, в обычной жизни — тоже, вот и не знаешь — чему уподобить. Это мелькало мне в отце Николае с острова Залита в Псковском озере, которого теперь все по Руси помнят благодаря фильму «Храм». Но там еще легкая чистая старость, свет возраста и духа. А тут видно, что возраст и ни при чем, что они в чем-то более существенном с отцом Николаем братья и сверстники. Батюшка читает канон к причащению, и я отступаю в себя...

Ухожу в башню, пытаюсь читать, потом так же пытаюсь уснуть — ни то, ни другое не выходит. Сон наваливается за полчаса до того, как надо вставать к утрени. Бьет два. Сторож стучит колотушкой, звезда чуть рябит в правое окно, а когда встаю — в левое над лампадой глядит луна и поле под ней таинственно и тускло — старая желтая медь хлебов и пыль дороги. Выхожу со свечой — шорохи и трески. Свет свечи вязнет в слепой тьме башни и снизу дышит жутью. Я боюсь и заглядывать в нижний этаж, в каменный его мешок. Дверь гремит так, что кажется, сейчас встанет весь монастырь. Звезды высоко, мелкие, серые, зола золой. Пробегаю в часовню батюшка. Иван, Владимир — ночью из ночи — бежит одно лицо. Витька уже горбится на скамеечке в часовне. Без четверти три начинаем утрению.

Часы бьют четыре, пять... Из двери тянет сквозняком, и в поклонах я улавливаю, что на крыльце кто-то молится с нами. В окнах проступает тусклый линияльный свет. Я гоню от себя зрительное слушание канона и псалмов, но ум все равно сторожит повод к восхищению: «Сии на колесницах и сии на конех, мы же во имя Господа Бога нашего призовем...» Коллеблются тени, скорбный Деисус на одной доске, где поражает скорбь Спасителя и умоляющих за нас Иоанна и Марии, Гавриила и Михаила, Петра и Павла, словно им страшно просить, а ему почти не по силам простить — великое напряжение скорби о человеке. Свечи нагорают, и иногда тянется рука Владимира или Ива-

на — поправить. Пение собранно и покойно.

Я смотрю на спины родных в этот час людей и вдруг думаю, как странно выйти сейчас отсюда в мир забастовок Кузбасса, тяжкие беды Приднестровья, неистового зла Карабаха. Возможно ли? Не странно ли? Этот маленький ночной дозор, бодрствующий в небесной работе, пока мир теряет голову, внезапно видится какой-то трагически сильной стороной. Ведь они так каждый день, пока мы там спим или злословим, тешим тщеславие или боремся за власть. Корабль давно потерял цель,



Отец
Алексей —
монастырский
звонарь
Monastery bell
ringer Father
Alexius

а они здесь, в корабельной «машине», держат все в чистоте и порядке, уверенные, что пока они бодрствуют, есть надежда. И она есть, есть! Воц как они спокойно и твердо проводят ночь!

В половине шестого Владимир говорит: «Ну а остальные три песни канона к причащению мы прочтем уже в пещерах. Батюшка ушел готовиться к литургии — в полседьмого он ждет».

Витка выходит в теплой куртке, в валенках с галошами. Владимир раздает фуфайки, пальто. Мне отыскиваются построенные на волчьем меху сапоги прежнего наместника. Тесновато, но как в печи. Спускаемся вниз под розанами рисованных на лестнице облаков. Из теснящихся вдоль стен риз и окладов выступил парадный портрет последнего государя. Успеваю увидеть, что писан он уже в 1903 году живописцем с фамилией Ульянов. В пещерах сразу в свете дальней свечи

клубом изо рта пар. Потом будет все холоднее. Мраморное «Воскресение» алтаря проступает как сон. Владимир, Иван, Алеша занимают места на «клиросе» — тут же рядом, касаясь плечами и головой сводов.

Ровно в семь — «Благословенно Царство...». Как и всегда, тайные молитвы на антифонах батюшка читает вслух. И здесь, в катакомбном холоде и зыбкой мгле, каждое слово полнится особенным смыслом и слышится впервые: «Прошения к полезному исполни, подая в настоящем веще познание Твоея истины». Век к концу — и мой, и общий, — а истина все дальше. И пока совершается жертва, сердце восходит все выше и тревожнее. Батюшка поднимает руки, и Спаситель с так же воздетыми в мраморном образе руками словно проступает сквозь него: «Тя убо молю... облеченна благодатию священства предстати святей Твоей трапезе». И все тут, тут, перед нами: «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое тело Твое, плащаницею чисто обвив и благоуханьми во гробе нове покрыв, положи...» И так тревожно видеть, как он склоняется над престолом, ограждая и обнимая Пречистое Тело каким-то колыбельно бережным движением. Тут подлинно жертва и подлинно клятва: «Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь, утверждение и прибежище мое».

Я опускаюсь на колени в тяжелый песок и благодарю Бога, что Он позволил мне увидеть это таинство Вечери и Воскресения. Светлое мраморное «Воскресение» реет в кадильном дыме и паре дыхания, и на сердце спокойно и свободно. Нет никакого другого мира и другой правды. Каждое слово подлинно, каждое движение единственно, и каждое желание просто. Эта полнота ничем иным не возмещаемая, и тут еще можно ослабшим и почти омертвившим сердцем расслышать, как некогда прекрасно и свободно задуман был человек и как он был безграничен...

27 октября. Батюшка выспросил обо всех общих знакомых, а рука не оставляла работы. «Не выходит у меня Ефрем Сирий. Да, вот такой — почти безбородый — нашел на одной чуть читаемой фреске. Одно уже смысл. Похоже, и второго смую». Исподволь стягиваются сумерки, лик меркнет, и он, жалея, что уходит час, а душа еще слышит образ, резко светлит скулы, лоб, и лик сразу свободно и сильно выступает из-под куколя, «выходит навстречу». Потом легко чертит несколько стремительно живых складок мантии, словно не впервые чертит, а обводит уже бывшие или ловит ветер — так естественно подхватываются они мгновенным порывом.

— Ох, мне же к отцу Серафиму!

Возвратившись, ищет для меня чтение.

— Вот, поглядите автобиографию Григория Богослова. Теперь ни слога такого, ни людей таких нет. Богатыри духа. Полу-боги.

— А теперь, — вставляю я, — и захочешь быть полубогом, так прихожане и обстоятельства не дадут.

И он, будто про себя, но с отчетливым указанием моей ошибки: «А разве этим можно быть или не быть?» — И что-то, видно, задето моей необдуманной фразой давно тревожащее, горькое. — «Говорят, что православие не удалось. Какая чушь! Мы потому и живы, что оно держит нас. Православие — это не религия, не один из ее видов, а новое человечество. Небо сведено с землею — какая еще после этого религия?» А потом уже о другом: «Общество «Изограф» врет от моего имени, хотя я только и просил их найти покровителя в Синоде, без чего они ни то, ни се. А тут читаю интервью и в нем определение их достижений: оказывается, теперь можно писать иконы независимо от Церкви — наверно, на выставки-продажи. Молодцы, что скажешь... Всё одно к одному. Недавно приезжал даже актер, который на студии Довженко будет сниматься в роли Христа. «Раз икону, — говорит, — писать можно, отчего сниматься нельзя?» — вот аргументация этого неопита или невера, не знающего начал Церкви. Вот горе-то...»

28 октября. Зашел к отцу Тавриону.

— Ангина. Хвораю. Не выхожу никуда. Зато вот новости в газете гляжу. Вон пишут: три тысячи новых храмов открыли, а что-то никто не сообщает, что нашлось на святой Руси три тысячи богобоязненных людей. Да уж что тысячи? Десяток бы хоть, потому что начало премудрости — страх Господень. А храмы — что храмы...

Прощаемся, он просит:

— Помолитесь о моем поправлении.

— Да молитва-то, — говорю, — у меня, батюшка, слабая.

— А это не нам судить. Вот мне старец говорил: живет человек, мается — грехи чашу весов перетягивают. А на другой чаше — молитва его и за него, и всё эта чаша никак не одолеет грехов, хотя вроде уж за него все человечество молится. А подошел совсем вроде пустой для веры человек, пробормотал от сердца: «Да помилуй ты его, Господи!», какая уж это молитва, а глядишь — чаша-то с молитвой и перетянула.

День, начавшийся светло, вдруг как-то сник, обмяк, потускнел. Высокий сильный прут розы с одиноким бутонем стран-

но случаен, словно ошибкой в этом дне. Подошел отец Зинон по дороге на службу. Разговор опять свернул на Григория Богослова:

— Как ни открой, все сегодня откроешь. Вот: «Но как устоят корабль, или город, или воинство, или полнота лика, или дружелюбный дом, когда в них больше разрушающего, нежели скрепляющего? Это самое и было тогда с Христовым народом». Только и скажешь, что это самое есть с ним и сейчас. А Церковь наша невредима и чиста. Повреждено ее общество, люди в ней, тяжело говорить — иерархия наша. Ослабленность веры, начинающаяся с малого потакания внешнему, с пустого украшения, с блесков на дьяконских стихарях, с «реализма» в иконе, неизбежно приводит к ослаблению са-



Дмитрий —
ученик о. Зинона
Dmitry, a pupil
of Father Zenon

мого церковного народа, а там уж и к общему нестроению, которое сотрясает сейчас наш «дружелюбный» дом». А Церковь стоит, как стояла, и надо только омыть, о-лице-творить, вернуть лицо.

...Опять мне не хочется уезжать — так сродно, выровнено, спокойно на душе. Галки кричат и косо летят под ветром. Роза у колокольни висится крепко и одиноко.

6 января. Приехал на Рождество. Каково оно тут? Ни разу как-то прежде в эти дни не попадал. Накануне на всенощной с радостью увидел, что служит уже иеро-

монах — не дьякон — Амвросий — недавно рукоположили. И Саша уже никакой не Саша, а дьякон Иоасаф. И служат оба, может, по духу-то еще и не очень глубоко, но молодо, радостно, с какой-то счастливой открытостью.

...Умываюсь снегом. Фатюшка за стеной гремит дровами, затапливает, и скоро в трубе ровно и сильно гудит. К семи иду в Лазаревский храм. Горят едва две свечи. Отец Иона начинает проскомидию. Сложный пополам седенький брат Василий (приехал пять лет назад хоронить брата, а возвращаться уж некуда и не к кому, остался) чуть переваливается через порожек, но когда я подхожу помочь ему, он отказывается: «Ничего, ничего, я сам, мне еще приложиться надо» — и как-то дотягивается до уголка аналоя. Потом приводят схимонаха Николая, которому уже 94 года, и кое-как усаживают. Стул высокий, и ноги старика, как у ребенка, висят над полом. Все службу он старается перекреститься, заносит руку, но так и не довершает знамения — то ли забывает, то ли уж и сил нет. И все не то поет, не то плачет тем гласом, которым поет клирос. На чтении Евангелия ему помогают встать. Он немного стоит, потом неловко падает поперек стула. Я поднимаю его и держу до конца чтения и с горькой отрадой вижу, что рядом с моей подсовывается и сухая ладошка старика Василия, как будто он кого-то еще способен удержать. Сам как былинка, а вот подпирает сверстника, и, глядишь, так вот вдвоем они еще постоят на земле и в храме.

Девушка-реставратор из Петербурга стоит в сторонке прямо, недвижно — чистая нестеровская свеча. Послушник Владимир и молодые рабочие Алексей и Георгий поют знаменным распевом, еще робко и тщательно, только обыкая строгому пению. И отец Иона напряженно слушает их, чтобы держать единство тона в службе, и все это вместе высоко и чисто. К причастию приходят послушники, помогают Анании, Василию, Николаю, и, расходясь, старики оживляются на минуту, что вот Бог дал сил и еще на одну литургию.

Захожу после службы к отцу Зинону.
— А-а, Николай...

Он живет уже в другом измерении. Отец Анания обычно перед причастием приходит просить прощения у отцов. Подходит и к нему: «Прости меня, схимонах Николай!» А тот: «А ты кто?» Анания кричит: «Анания я, Анания!» Отец Николай откуда-то издалека, уже будто и не из нашей жизни, не то узнаёт, не то вспоминает: «А, Анания...», но видно, что для него это только какой-то забытый звук из оставленного мира, а Анания никакого нет. Долго смотрит в «Нашем наследии» ре-

продукции коринской «Руси уходящей»: «Нет, это был холст обреченный. И не в Павле Дмитриевиче было дело, а в церковном состоянии. Там уже все было повреждено. И не зря он всех их не Церковью, а эстетикой пытался собрать. Но если для Церкви они уже были слишком рассеяны и разорены, то для эстетики еще слишком сильны — не давались. Вот до холста и не дошло».

7 января. Выхожу из кельи в половине первого. Батюшка тоже собрался. Благословляюсь, чтобы были силы для долгой службы. В храме суетно и еще не тесно. Теснота начнется к часу. Выставший за зиму храм отогреется и вспотеет. Часам к четырем закапает со стен и сводов к развлечению многочисленных детей. Они будут ловить капли и искать случая отодвинуться, а то и ускользнуть от матери на улицу. К утрени я выйду вдохнуть морозного воздуха и увижу, как они бегают у храма, будто на переманке, и на радостную информацию оставленной в храме девочки — «Помазают!» — летят к елеопомазанию. И когда уже под самое утро я выйду на крыльцо еще раз, они всё будут тут. Какая-то кроха на паперти готовно предупреждает каждого, кто выбегает из темноты: «Еще «Верую» не пели». И они опять уносятся к «вертепу» — к высокой снежной пещере у монастырских ворот, где под елкой будет мерцать в свечах образ Рождества и белеть свежесыпанный агнец, чтобы детям веселее было проходить ночь до утреннего праздничного причаствия.

К вечеру я уезжаю, и все нейдет у меня из памяти «Русь уходящая». И все думается — уходящая ли? А вот это-то что: это радостное служение отца Ионы, этот младенчески светлый Василий, сующий ладошку под ладью спину схимонаха Николая, эта девушка-свеча, эти дети у вертепа, которые, вероятно, и век, и два назад были таковы. Это-то из какого народа и какого дня?

* * *

Вот кончится Страстная неделя, придет Пасха, и белая старая звонница вздрогнет от хора колоколов, как в минувшем мае. Небо подымется и полетит, и звонарь церкви Сорока Мучеников опять ревниво будет пережидать монастырское колокольное ликование, чтобы тотчас за ним вступить часто и весело, как в деревенской пляске.

И опять можно будет поверить, что времени нет, а стоит над монастырем и Россией один долгий и светлый день...

Печоры — Псков